

ДАРЬЯ КОРЯКИНА



ЗДРАВСТВУЙ, САША

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
НЕСКАЗОЧНАЯ СКАЗКА

Дарья Корякина

**Здравствуй, Саша:
психоаналитическая
несказочная сказка**

«Автор»

2026

Корякина Д.

Здравствуй, Саша: психоаналитическая сказочная история /
Д. Корякина — «Автор», 2026

Саша вырос под взглядом отца, для которого любовь означала послушание. Одарённый, нежный, своевольный мальчик стал человеком безупречного самообладания: серьёзная научная работа, семья, верность слову. Всё на своих местах. Даже то, чему там давно не хватало воздуха. Пока в лаборатории не появилась Ветрана. Свободная, дерзкая, увлечённая математикой и музыкой, она оказалась не просто искушением, а собеседницей, рядом с которой возвращался его собственный голос. Между ними возникла близость из совместной работы, зимних дорог, смеха, писем и прикосновений, после которых невозможно убедить тело, что ничего не произошло. Но любовь не отменяет обязательств. И не всякий запрет, переживаемый как совесть, действительно принадлежит нам. «Здравствуй, Саша» Дарьи Корякиной: снежная, чувственная сказочная история о любви, которой не хватило места в устроенной жизни. История и письма переплетаются с психоаналитическим осмыслением семейных запретов, стыда, самоотречения и страха перемен.

© Корякина Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Дисклеймер и предупреждение о содержании	5
Письмо, которое никогда не будет отправлено	7
Часть первая. До	8
Глава 1. Мальчик, который родился волком	9
Глава 2. Клетка, которую называли карьерой	12
Глава 3. Ветрана	14
Глава 4. Совместная работа	17
Первое письмо	19
Глава 5. Зима, в которую они были вместе	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Дарья Корякина

Здравствуй, Саша: психоаналитическая несказочная сказка

Дисклеймер и предупреждение о содержании

Произведение является художественным вымыслом. Персонажи, события, диалоги и переписка созданы или художественно переосмыслены автором и не представляют собой документального описания чьей-либо жизни. Возможные совпадения с реальными людьми, их биографиями и обстоятельствами не следует рассматривать как указание на конкретных лиц.

Психологические характеристики и психоаналитические интерпретации относятся к персонажам и внутренней логике произведения. Авторские трактовки не являются клиническими диагнозами, достоверным объяснением мотивов реальных людей или универсальными закономерностями человеческих отношений.

Книга содержит эмоционально тяжёлый материал: описания семейной жестокости, психологического давления, стыда, зависимости, болезненной привязанности, утраты и смерти. Отдельные сцены, письма и интерпретации могут стать триггером, вызвать сильные переживания, болезненные воспоминания или усилить уже существующее эмоциональное неблагополучие.

Книга предназначена для совершеннолетней аудитории и носит художественный и ознакомительный характер. Она не является руководством по самостоятельной работе с психической травмой, инструментом самодиагностики, медицинской или психотерапевтической рекомендацией. Описанные направления исцеления не заменяют индивидуальной оценки состояния и помощи квалифицированного специалиста.

Читателю не предлагается намеренно погружаться в травматические воспоминания, преодолевать выраженный дискомфорт ради завершения чтения или воспроизводить описанные переживания и практики. При нарастании тревоги, ощущении потери контроля, оторванности от происходящего либо ином заметном ухудшении самочувствия рекомендуется прервать чтение и обратиться за поддержкой. При непосредственной угрозе собственной безопасности, мыслях о самоубийстве или самоповреждении следует незамедлительно обратиться в местную экстренную службу или за неотложной психиатрической помощью.

Сюжет и авторские интерпретации не следует использовать как единственное основание для решений о разводе, прекращении отношений, конфронтации с близкими, изменении лечения или отказе от профессиональной помощи. Узнавание себя в персонаже не подтверждает наличие расстройства и не означает, что его история, мотивы или исход применимы к вашей жизни.

Автор не гарантирует терапевтического эффекта от чтения и не принимает на себя обязательств по индивидуальному сопровождению читателя. Решения о применении изложенных идей принимаются читателем с учётом собственного состояния и обстоятельств, при необходимости совместно со специалистом. Настоящее предупреждение не исключает и не ограни-

чивает ответственность, которую нельзя исключить или ограничить по применимому законодательству.

Письмо, которое никогда не будет отправлено

Здравствуй, Саша.

Я долго думала, как начать. Начну с того, что тебя люблю. Пишу письмо в комнате, где на столе стоит твоя фотография — та самая, где ты в чёрном свитере, и снег ложится тебе на плечо, будто хочет остаться. Я не отправлю тебе это письмо. Ни одно из тех, что напишу дальше, ты тоже не прочтёшь. И, как ни странно, это единственная форма разговора, в которой мы теперь возможны. Мы. Можно сказать, что нас больше нет. Нас. Можно сказать, что нас никогда не было. Не было нас. Были ли мы, Саша? Или эта история плод моего больного воображения. Или воображения слишком здорового. Мы никогда не узнаем, что было внутри каждого нас на самом деле, но в своих письмах я свобода: могу наделить что угодно какими угодно смыслами. Интерпретировать что угодно, как угодно. Это мой мир... был ли он твоим. Надеюсь, что нам никогда не придётся больше искать ответы на эти вопросы.. а может быть я надеюсь на то, что все таки когда-то придётся... и мы найдем все ответы. Вместе. Мы. Нас.

За окном идёт снег. Большими, тяжёлыми хлопьями, будто у самой зимы нет больше сил их держать. Я смотрю, как они падают, и думаю: вот так же я когда-то падала в тебя. И вот так же ты когда-то должен был перестать держать. Себя... прорваться в меня такими же тяжёлыми, плотными, измученными долгим ожиданием хлопьями ледяного снега. Обжечь меня изнутри. Обжечь тем морозом, которым ты когда-то заморозил все живое внутри каждого из нас. Попытался. Обрек нас на вечные муки.. попытался, но ты знаешь, что в моей любви мук нет. А насчет существования твоей я в принципе не уверена...

Мне не больно. Точнее, больно, но не так, как раньше. Раньше боль была голодом, теперь она — плотность. Как если бы во мне вырос минерал. Твёрдое, холодное, спокойное вещество любви, которое больше не ищет исхода наружу.

Я расскажу нашу историю. Расскажу её так, как рассказывают сказки — чтобы можно было выдержать, продолжить лгать, отрицать. Выкинуть. Сказать : "Совпадение". Сказать: "Клевета". Как и всегда, впрочем, я продолжаю защищать и худшее в тебе. Беречь тебя от боли. Заботиться. Самое лучшее, что я могла для тебя сделать - это все разрушить. Но я никогда не хотела тебя ранить больше необходимого. Да и, надо сказать, я так и не смогла пойти в поле твоего презрения и ненависти, ведь гонцов истины ненавидят. Но... но, пожалуй, я слишком сильно тебя любила, чтобы быть грамотной. Чтобы поставить твой Дух выше твоего отношения... но ты все равно отверг. Все равно возненавидел. Все равно презираешь. По иронии судьбы, наверное. Есть ли она.. Судьба?

Я расскажу нашу историю так, как разбирают часовые механизмы — чтобы понять, где именно всё пошло не так и не туда. И, может быть, к концу этого разбора я пойму, что ничего никуда не шло. Что всё шло ровно туда, куда могло идти, — учитывая, кем ты был рождён, и что с тобой сделали ещё до того, как ты научился говорить.

Может быть я пойму, что все есть ложь. А может быть я просто решу эту затянувшуюся задачу. Положу ответ на стол. И забуду тебя.

В.

Здравствуй, Саша.

...

Часть первая. До

*Волки уходят в небеса
Горят холодные глаза
Приказа верить в чудеса
Не поступало
И каждый день другая цель
То стены гор, то горы стен
И ждёт отчаянных гостей
Чужая стая
Би-2 - Волки*

Серебряный волк, куда ты бежишь? Почему так часто дышишь? Почему бежишь так быстро? Где ты забыл живое тело?

Глава 1. Мальчик, который родился волком

Он родился в феврале, в тот год, когда снег в северном городе шёл шестьдесят четыре дня подряд. Мать потом любила это повторять — будто снег был знаком, будто мальчик пришёл вместе с зимой и был её ребёнком в той же мере, что и её собственным. Ей нравились такие фразы. Хрупкие, литературные, чуть-чуть в сторону от правды. Она вообще любила смещать правду — на градус, на полтона, на одно неосторожное слово, — и потом настаивать, что смещения не было.

Мальчика назвали именем, которое звучало твёрдо. Такое имя, которым удобно прика- зывать.

Он был красив с рождения. Не декоративной красотой, а той, что видна не сразу — по глубине взгляда, по редкой сосредоточенности зрачка на трёхмесячном лице. Люди часто отме- чали его взрослый сконцентрированный взгляд. Цепкий. Отец слышал это и хмурился. Отец не любил, когда его сын был кем-то отдельным. Отдельное надо было доламывать. Присваивать. Забирать. Забывать. Покорять. Приструнять. Живое надо ломать.

Так начинается почти каждая история этого типа: с ребёнка, чья природа больше, чем разрешено семьёй. Психика ребёнка первой считывает не слова родителей, а их непереносимость к его существу. Он не понимает, что именно с ним не так, — но чувствует, что он есть в слишком большом количестве. И начинает сжиматься.

Отец был инженером — грамотным, суровым, с руками, которые умели чинить всё, кроме себя. Он вырос в собственном аду, где мужчиной становились не через нежность, а через выдерживание. Он выдержал. И теперь единственное, что он умел передавать сыну, — способ выдерживать. Он не знал другого языка любви. Любовь у него всегда звучала как приказ: сде- лай, встань, не ной, не позорь, не будь.

Мать была — как это точно назвать? — тонкая. Не в смысле изящества, а в смысле про- ницаемости. Тонкий человек — тот, кого всё продырявливает: сквозняк, слово, взгляд соседки. Она носила эту свою тонкость как медаль. Когда сын подрастал, она уже умела говорить ему: у меня очень нежная психика, я могу распасться, будь осторожен со мной, сынок. Ребёнок пяти лет слышал это и понимал одно: если он не будет осторожен, мама распадётся. Он ещё не знал слова «шантаж», но уже знал его температуру.

Здесь закладывается двойной капкан. С одной стороны — отец, требующий силы; с другой — мать, требующая охраны своей слабости. Мальчик учится быть одновременно: солдатом для отца и рыцарем для матери. И ни в одной из этих ролей нет места для него самого — для его собственной чувствительности, одарённости, для его глубокого, слышащего ума. Тот, кто должен беречь всех, никогда не научится быть бережно принятым.

А он был чувствителен. Так чувствителен, что в четыре года плакал от музыки — от той, которую отец включал по субботам, когда позволял себе одну рюмку и двадцать минут покоя. Мальчик стоял у проигрывателя и смотрел, как крутится чёрный диск, и слёзы шли у него сами, без причины, от одного только звука. Отец однажды заметил и сказал: «Мужики от музыки не плачут». Сказал не зло — устало. Но мальчик услышал: тебя, такого, — не будет. Такой — не выживет.

Он был одарён. Это тоже стало ясно рано. В шесть он собирал из проводов и лампочек схемы, которые светились. В восемь чертил на обоях чертежи самолётов, у которых, если бы

кто-то взялся строить, действительно были бы шансы полететь. В одиннадцать читал учебник физики за девятый класс и понимал. В четырнадцать сам, тайком от родителей, вывел уравнение колебаний, которое ему потом покажут в институте, — и он узнает и промолчит, чтобы не выделяться.

Не выделяться. Это стало его вторым именем.

Одарённый ребёнок в семье, где одарённость воспринимается как угроза родительскому Я, оказывается перед выбором, которого не должно быть: остаться собой или остаться в семье. Психика в возрасте до семи лет не умеет удерживать это как противоречие — она разрешает его вытеснением. Даровитая часть уходит в подполье. На поверхности остаётся послушный, сдержанный, «правильный» мальчик, который получает пятёрки, но при этом всегда объясняет родителям, что учится «не очень», чтобы не спровоцировать отцовскую ревность и материнскую панику. Так формируется первичная маска — тот, кем ребёнок должен казаться, чтобы его любили.

К нему рано пришли звуки. Не только внешние. Он слышал что-то и внутри — не голоса, а как бы гулкие пространства, в которых мысль катилась, как шар по мрамору. Он ложился спать и слушал их. Иногда это его пугало, иногда наоборот — успокаивало сильнее любой колыбельной. Он не рассказывал ничего и никому. Он вообще много не рассказывал. Он рано понял, что внутри у него — другая страна, и границы её лучше не показывать таможене.

Он был волком.

Не в том расхожем смысле, в каком волками называют жестоких людей. Волк — про другое. Про природу, которая не выносит клетки. Про существо, которое чует правду носом раньше, чем услышит её ушами. Про верность стае — но настоящей стае, той, которую выбрало сердце, а не той, куда посадила биография. Про способность любить одну самку всю жизнь и молчать об этом всю жизнь, если так надо. Про огромное, глухое, глубокое либидо, которое умеет ждать годами.

Но волчонок родился в доме, где волков было принято дрессировать. И его начали дрессировать сразу.

Отец не бил. Отец делал хуже: он смотрел. У него был взгляд, от которого хотелось не существовать. Взгляд, в котором была вся невыраженная ярость мужчины, которого самого когда-то так же смотрели. Мальчик научился читать такой взгляд раньше, чем букварь. Он знал, когда сесть тише, когда убрать со стола локти, когда не смеяться. Он знал это телом. Тело училось быстрее, чем голова.

Идентификация с агрессором — не мазохизм и не глупость. Стратегия выживания. Когда ребёнок не может убежать от угрожающего взрослого — а он не может, потому что зависит от него полностью, — психика делает единственное возможное: она вбирает угрожающего внутрь. Отныне сын носит отца в себе. И теперь уже не отец на него смотрит, а он сам на себя — тем же взглядом. Это называется интернализированным Супер-Эго. И оно будет диктовать мальчику правила всю жизнь. Даже после смерти отца.

К пятнадцати он был высоким, худым, стриженным коротко. Красивым — той сдержанной, северной красотой, которая раскрывается медленно и не всякому. Уже наметилась в нём та коренастость плеч, которую он потом сохранит всю жизнь: невысокий (он остановился в росте раньше, чем ждали), но плотный, крепкий, с руками, о которых женщины через двадцать лет будут говорить — красивые руки, странно красивые для инженера. Волосы у него были густые, тёмные, и он ненавидел их стричь; отец водил его к парикмахеру раз в месяц, коротко, под ноль по бокам, и мальчик каждый раз выходил оттуда с чувством, что у него отобрали

ещё немного его самого. В зрелости он выберет бриться налысо сам. Таким станет его способ забрать обратно контроль над тем, что осталось от волчьей шкуры.

К девятнадцати он уже знал: он поступит на самый сложный факультет самого строгого института. Он будет считаться лучшим. Он будет считать себя худшим. И это противоречие будет его двигателем ещё долго — пока не сгорит внутри всё, что могло гореть.

Он поступил. Впервые добровольно вставив ключ в дверь своей добровольной тюрьмы.

. . .

Глава 2. Клетка, которую называли карьерой

Институт он окончил с отличием. Отец на выпускном не улыбался — отец никогда не улыбался, если ему нечего было исправить. Он только сказал: «Ну, посмотрим, куда возьмут». В переводе с отцовского это значило: не думай, что ты чего-то достиг.

Взяли его в самое строгое, самое консервативное, самое закрытое из возможных мест. Научная организация с длинным названием, в котором каждое слово было тяжёлым, как гиря. К нему подошёл мужчина — начальник отдела, лет пятидесяти пяти, седой, сухой, с такой же выправкой, как у отца, и такой же интонацией: не приглашал, а ставил перед фактом. «У нас есть для вас место. Сложное. Мы вас видели на защите. Приходите в понедельник». Мальчик сказал: «Спасибо». В понедельник пришёл. И остался на десять лет. Возможно, на всю жизнь...

Обратите внимание на механизм. Психика, воспитанная отцом-тираном, устроена так, что распознаёт голос власти не как выбор, а как приказ. Даже когда взрослый мужчина в тридцать лет получает предложение о работе, он слышит его так же, как в детстве слышал: «Иди сюда. Сделай. Не спрашивай». Отцовская фигура для него — не человек - позиция. И любой мужчина, занявший эту позицию, автоматически получает право приказывать. Свобода отказа — не в лексиконе. Отказ карается смертью — такую формулу тело выучило до речи.

Организация была прекрасна и ужасна одновременно. Там работали настоящие умы — люди, которых он уважал до дрожи. Там были задачи, которых больше не было нигде. Там был воздух научной серьёзности, которую он любил всей своей волчьей глубиной. И там же была бюрократия, съедавшая творческое время как термит; иерархия, в которой младший научный сотрудник не мог возразить старшему научному сотруднику даже по формуле, если старший был выше по должности; культура тихого подтачивания несогласных.

Он вписался. Он умел вписываться. Он был тем, кем нужно было быть: сдержанным, ироничным, знающим меру. Его быстро полюбили те, кто наверху. Его тихо уважали те, кто рядом. Его тихо ненавидели те, кто был амбициознее и глупее. Он не замечал ни любви, ни ненависти — он был занят.

Занят чем? В основном — доказательством. Себе, отцу (даже отсутствующему в кабинете, отец присутствовал везде), начальнику, коллегам, миру, снегу за окном — доказательством, что он справляется. Что он не хуже. Что он достоин. Достоин чего — он не смог бы сформулировать. Просто — достоин. Как будто в комнате, где он сидел, всегда был кто-то, кому надо было предьявить.

Он женился на двадцать шестом году. Девушка была хорошая. Очень важное слово в его лексиконе — «хорошая». Хорошая — значит правильная. Правильная — значит одобряемая отцом (и, следовательно, внутренним отцом внутри него). Она была из его среды, из семьи научных работников, спокойная, воспитанная, с длинными русыми волосами, с той разновидностью красоты, которая никого не пугает. Она любила его. Он любил её тоже — той любовью, которая идёт от благодарности и совместимости, а не от узнавания. Он не знал, что бывает по-другому. Ему никто не сказал.

Здесь важно быть точным. Он не обманывал её. Он не изображал любовь. Он действительно любил — той разновидностью привязанности, которая доступна человеку, отрезанному от собственного либидо. Это привязанность-по-договору: я буду тебе верен, я буду тебя защищать, я буду с тобой добр. И всё это он выполнял. Проблема была не в этой женщине и

не в этом браке. Проблема была в том, что в нём самом ещё жил кто-то — тот, кого он не знал, — и этот кто-то не был подписантом договора.

У них родилась дочь. Он был счастлив. Не той плоской радостью, о которой пишут в поздравительных открытках, а тем глубоким, почти пугающим счастьем, когда впервые видишь, что вот это — твоё. Не в смысле собственности, а в смысле кровной, необъяснимой узнаваемости. Он держал её на руках и плакал. Впервые за много лет плакал. Жена этого не увидела — он вышел в коридор. Отцовское правило работало: мужики от нежности не плачут при свидетелях.

Он был хорошим мужем. Он был хорошим отцом. Он приходил домой в семь, читал дочери на ночь, чинил всё, что ломалось, никогда не повышал голос, никогда не пил больше двух рюмок, никогда не смотрел в чужую сторону. Он был именно тем, кем его учили быть. И это было единственно возможным способом жизни для человека, который так и не научился быть собой.

Проходили годы. Он получал должности. Он становился в организации фигурой уважаемой — тем самым «крепким специалистом», о котором говорят с почтительной паузой. Он старел раньше срока: к тридцати пяти у висков уже проступала ранняя седина, и он относился к ней с тайным удовольствием — седина шла ему, она соответствовала образу. Образ был важен. Образ держал его на плаву. Без образа он не знал, кто он.

А внутри него что-то тихо умирало.

Самое трудное для наблюдателя со стороны. Внешне — образцовая жизнь. Уважаемая работа, хорошая семья, здоровые дети, устойчивое финансовое положение. Классические маркеры «удавшейся» биографии. И только тонкий наблюдатель — а лучше сам человек в редкие часы бессонницы — способен заметить, что происходит внутренняя эрозия. Что либидо, не находящее выхода, начинает разъедать сосуд, в котором заперто. Что чувствительность, годами загоняемая внутрь, становится не отсутствием чувствительности, а её злокачественной формой: раздражительностью, ироничной холодностью, скрытым презрением к живому. Что то, что не расцвело, — не исчезает; оно гниёт.

К тридцати пяти у него всё чаще стали болеть спина и голова. Врач сказал: сидячая работа, стресс. Он согласился с врачом. Ему было удобнее так думать. На самом деле у него болело то, чего не бывает у нормальных людей, — у него болела его собственная нежизнь.

И тогда, ровно в этот момент — как всегда и бывает, потому что тело зовёт помощь языком, которого не понимает разум, — в лабораторию пришла девушка.

Глава 3. Ветрана

Её звали Ветрана.

Имя, которого никто раньше не слышал. Она сама выбрала его себе в шестнадцать, назло матери, назло школе, назло всему, что называется «нормальное имя». В документах у неё было записано другое, и она таскала это документное имя, как чужую куртку, — надеть можно, но не своё. Ветрана — было её. Что-то от ветра, что-то от ветвей, что-то от старого корня, который никто уже не помнит.

Она пришла в лабораторию в понедельник, в конце сентября. За окном шёл первый в году снег — редкий, летящий боком, ещё не всерьёз. Ей было двадцать три. Она только что защитила диплом на другой кафедре, и её отправили сюда — стажёром, лаборанткой, ученицей, как это ни назови. По документам она была никем. По походке — уже кем-то.

Он увидел её со спины первым. Она стояла у окна, смотрела на снег и что-то тихо говорила себе под нос. Он подошёл и услышал: она ругалась. Тихо, отчётливо, с почти литературной интонацией, длинной вязью, в которой мат был не грубостью, а музыкой — как будто она пробовала на вкус слова, к которым её никогда не подпускали в детстве. Он замер. Потом кашлянул.

Она обернулась. И тут ему стало нехорошо.

Есть встречи, которые проходят по коже, как током. Психоанализ давно описал это: узнавание. Не «влюблённость с первого взгляда» — это слово затаскано и ничего не объясняет. А именно узнавание. Твоя психика видит в другом человеке ту часть себя, которая была вытеснена, забыта, запрещена, — и узнаёт её мгновенно, до всякой мысли. Он увидел в этой девушке ту дикую, свободную, витальную сторону, которую сорок лет держал у себя в подвале. И она — увидит в нём ту глубину и структурированность мысли, которую в своих ровесниках не находила никогда. Между двумя людьми, каждый из которых для другого — недостающая половина, включается процесс огромной силы. Психика начинает буквально требовать соединения. Это переживается как влюблённость, но по механике это ближе к возвращению домой.

Она была невысокой. Стройной, но не тощей — с той плотной, лёгкой, спортивной подтянутостью, которая бывает у людей, живущих телом. Волосы у неё были в тот день коротко стриженные, светло-каштановые, с одной прядью, крашеной в тёмный винный. Ногти — тоже винные, короткие, аккуратные. На ней был чёрный водолазка и чёрные джинсы, и никаких украшений, кроме тонкой серебряной цепочки на щиколотке — он это заметил потом, когда она сняла ботинок в лаборатории, чтобы вытряхнуть камешек. И глаза. Глаза у неё были такие, каких он не встречал: не по цвету — цвет был обычный, серо-зелёный, — а по устройству. Смотрели прямо, без защитной плёнки, будто ей не сообщили, что смотреть прямо — неприлично.

— Здравствуйте, — сказала она. — Простите. Я не думала, что кто-то войдёт.

Он не смог сразу ответить. Он потом много раз возвращался к этой первой секунде и не мог себе простить: он не смог сразу ответить. Отступил в мысленный кабинет, где сидел его внутренний отец, и оттуда, из кабинета, произнёс ровным, чуть насмешливым голосом:

— Здравствуйте. Полагаю, вы — новая лаборантка. Приступайте.

Она подняла бровь. Одну — левую. Так, будто он сказал что-то смешное, но она была слишком воспитана, чтобы засмеяться.

— Приступаю, — сказала она, и в этом её «приступаю» было столько иронии, что он на секунду увидел волка в самом себе — того, который давно спал, — увидел, как волк поднял голову и понюхал воздух.

Первое движение защиты у него — критика. Это классическая психодинамика человека, который боится собственного либидо: он немедленно ставит другого на дистанцию, обесценивает, ироничен. Не потому что не чувствует — а потому что чувствует слишком сильно и не имеет разрешения чувствовать. Ирония здесь — это ремень безопасности. Она удерживает от падения.

Первые три месяца он был с ней строг. Он заваливал её работы. Возвращал расчёты с красными пометками, где иногда красных пометок было больше, чем текста. Говорил ей «неудовлетворительно» с той сдержанной, отчётливой интонацией, которая должна была унижить, но её не унижала. Она приходила через день с исправленным. Он возвращал снова. И снова. И ещё раз. Она приходила снова.

Он не понимал, что делает. То есть он думал, что учит её. На самом деле он играл в игру, знакомую его телу с детства: он проверял, выдержит ли она. Настоящая ли. Волчица ли. Стая ли. Потому что если бы она сломалась и ушла после первой критики, — он с облегчением бы её забыл. Стало бы понятно: слабая, не своя. Но она не ломалась. Она приходила. И глаз у неё был всё тот же — прямой, весёлый, чуть насмешливый.

Однажды — это было уже в декабре, снег лежал крупными пластами, и лаборатория пахла старым паркетом и остывшим кофе — она принесла ему очередную работу. Он открыл. Прочёл. Молчал долго. Она стояла у стола и смотрела на него. Он поднял глаза.

— Здесь нет ошибок, — сказал он. — Я знаю, — сказала она.

Пауза.

— Тогда почему вы так на меня смотрите? — спросила она.

Он не ответил. Он не мог ответить. У него в груди что-то сделало то самое движение, которое делает у волков шерсть на загривке, когда они видят стаю после долгого одиночества.

— Хорошо, — сказал он наконец. Голос вышел сдавленный. — Хорошо. Оставьте у меня, я подпишу.

Она кивнула. Вышла. Дверь закрылась.

Он остался один. Достал платок. Вытер лоб. Заметил, что руки дрожат.

Первая физиологическая реакция тела на разрешённое присутствие любимого — то, что психоанализ называет «возвращением вытесненного»: тело помнит то, что психика запретила. Дрожь рук — это не страх и не слабость. Это возвращение либидо к точке, из которой оно ушло сорок лет назад. Тело начинает жить. Психика в этот момент испытывает панику, потому что жить — не по правилам.

Он вышел в коридор. Пошёл в туалет. Умылся холодной водой. Посмотрел на себя в зеркало. Увидел мужчину сорока лет с седыми висками, с усталыми глазами, с тонкими губами, привыкшими к сдержанности. И увидел за этим мужчиной — на секунду, вспышкой, — того мальчика, который в четыре года плакал от музыки. Он не узнал его. И узнал одновременно.

Вечером он поехал домой. Жена приготовила ужин. Дочь показывала рисунок — она нарисовала дом, из которого шёл дым, и написала внизу большими кривыми буквами: «Мама папа Ксюша». Он поцеловал дочь в макушку. Он погладил жену по плечу. Он сел за стол. Он ел суп. Всё было правильно.

И всё было мёртвым.

С этого вечера начинается двойная жизнь. Не в смысле измены — измены в физическом плане не будет ещё очень долго, и, возможно, не будет вообще. Двойная жизнь начинается внутри. С этого момента у него два тела: одно, которое ест суп и целует дочь, и другое, которое, ложась спать, тихо вспоминает, как она подняла бровь. Психика больше не может свести эти два тела воедино. Начинается медленный, длинный, беспощадный процесс раскола.

Он не спал в ту ночь. Смотрел в потолок. Слушал, как жена дышит рядом. Считал минуты. Потом встал, пошёл на кухню, налил себе воды. Стоял у окна. Снег шёл всю ночь. Большие, тяжёлые хлопья. Один прилип к стеклу с наружной стороны — с внутренней шёл пар от его дыхания. И этот один снежок, прилипший к стеклу, показался ему в тот момент лицом. Её лицом.

Он засмеялся тихо, коротко, зло. Сказал сам себе шёпотом:

— Хватит. Я взрослый мужчина. Прекрати.

Внутри что-то ответило голосом, которого он раньше у себя не знал:

— Не прекращу.

...

Глава 4. Совместная работа

Они начали работать вместе всерьёз в январе.

Он предложил ей задачу. Настоящую задачу — не студенческую, не учебную, а такую, от которой у него самого стыла спина, потому что она была на грани того, что он в принципе умел. Он предложил не из щедрости — он предложил как проверку. Он хотел увидеть, где она сломается. Хотел найти в ней трещину, чтобы легче было её обесценить и вернуться к обычной жизни.

Трещины не нашлось.

Она села за задачу — и за две недели решила ту часть, которую он сам не мог сдвинуть третий месяц. Не гениальным озарением, а последовательной, честной, отчётливой работой. С той плотностью мышления, которую он раньше видел только у двух-трёх людей за всю карьеру. И одним из них был он сам.

Он держал её решение в руках и молчал долго.

— Как вы это сделали? — спросил он наконец.

Она пожала плечом.

— Я подумала, что если рассмотреть эту функцию как предельный случай, то...

Она объяснила. Он слушал. И пока она объясняла, он видел не только математику. Он видел, как у неё двигаются руки, когда она чертит. Как она наклоняет голову вправо, когда думает. Как у неё слегка приоткрывается рот в момент, когда она нащупывает решение, — будто она дышит через мысль. Он видел, что она красива. Он видел, что она — та самая. Он видел, что происходит катастрофа.

— Спасибо, — сказал он, когда она закончила. — Хорошая работа. Продолжайте.

Она посмотрела на него.

— Вы всё время так говорите, — сказала она. — «Хорошая работа. Продолжайте». Вам когда-нибудь бывает интересно?

Он замер.

— В смысле? — спросил он ровно.

— В прямом. Вам интересно то, что мы делаем? Или вам только результат?

Он смотрел на неё. Долго. Потом сказал:

— Мне интересно.

Она кивнула.

— Тогда, — сказала она, — давайте по-другому. Не «продолжайте». А — что дальше? Что вы бы сделали?

Он открыл рот. И понял, что не знает.

Здесь произошло небольшое, никому со стороны не заметное, но структурно решающее событие. Она предложила ему выйти из позиции наставника. Из позиции отца. Из той единственной роли, которую он умел играть с младшими коллегами. Она предложила ему быть с ней равным. И на секунду он ощутил под ногами не пол, а бездну: он не знал, кто он вне роли. Кто он, если не старший. Кто он, если не судья. Психика, воспитанная в вертикали, теряет опору в горизонтали. Она предложила ему любовь как равенство — и он впервые в жизни услышал этот язык.

Он ответил. Сначала неуклюже, потом всё точнее. Через час они стояли у доски вдвоём, и он рисовал одной рукой, она — другой, и линии пересекались, и они смеялись — да, смеялись, — над той изящной идеей, которая родилась между ними. Это было впервые. Он не помнил, когда в последний раз смеялся с коллегой над идеей. Пожалуй, что и никогда.

Она ушла в семь вечера. Он остался. Сидел у доски. Смотрел на её след — на две буквы, которые она написала своим летящим почерком, обозначая переменную. Смотрел на эти две буквы, как смотрят на письмо от возлюбленной, которое ещё не решились распечатать.

Он не знал, что происходит. Точнее, знал. Но не разрешал знанию оформиться в слова.

Защитная манёвр, который в психоанализе называется «отрицанием»: субъект знает, но не признаёт, что знает. Он держит знание в подвешенном состоянии, где оно ещё не стало реальностью, потому что реальностью его делает название. Пока не назвал — вроде бы и нет. Он будет держать это в подвешенности несколько лет. Психика на это способна. Тело — нет.

Через неделю она принесла ему книгу. Не по специальности — стихи. Небольшой сборник в тёмной обложке, изданный в маленьком издательстве, малым тиражом. Одного северного поэта, о котором никто, кроме тех, кто читает такое, не знает.

— Вы, кажется, любите стихи, — сказала она.

Он смотрел на книгу в её руке.

— С чего вы взяли?

— С того, как вы читаете формулы. С акцентами. Как стихи.

Он взял книгу. Их пальцы на секунду соприкоснулись. Одна десятая секунды, не больше.

Он потом эту секунду будет носить в себе годами.

— Спасибо, — сказал он.

Она ушла. Он открыл книгу. На первой странице она карандашом, очень мелко, написала одну строчку. Он прочёл. Строчка была такая:

«Того, кто рождён волком, не выучить быть собакой. Но можно очень постараться.»

Он закрыл книгу. Положил её в стол. Запер стол на ключ. И только тогда позволил себе выдохнуть.

С этой книги начинается их переписка. Не электронная — на бумаге. Она будет вкладывать записки в книги, которые ему одалживает. Он будет отвечать — сначала краткими репликами на полях, потом развёрнутыми письмами, которые он будет писать по вечерам, за закрытой дверью кабинета, пока семья спит. Не переписка любовников - переписка двух душ, которые узнали друг друга и не имеют другого языка, кроме языка косвенных касаний: строчка на полях, книга по случаю, короткий разговор на лестнице. Всё, что не сказано впрямую, будет сказано через это.

. . .

Первое письмо

Из тетради Ветраны. Февраль. Она пишет ему, но не отдаёт. Позже она вложит эту страницу в книгу, которую вернёт ему в марте. Он найдёт. Прочтёт. Не покажет виду.

Здравствуй, Саша.

Я пишу «Саша», хотя произношу «вы» и «Александр Николаевич». Я пишу «Саша», потому что в письме я могу. В письме я вообще могу многое, чего не могу вслух — ты это уже знаешь, я вижу по твоим глазам, ты сам такой.

Я долго думала, надо ли отдавать тебе такую записку. Решила: отдам, но так, чтобы ты мог сделать вид, будто не заметил. Я знаю, как это тебе нужно — иметь возможность сделать вид. Ты весь построен на такой возможности.

Я хочу сказать тебе несколько вещей. Не жди в них признания в любви — это было бы для тебя невозможно. Я знаю границы, которые ты держишь, и я не собираюсь их нарушать. Мне это не нужно. Мне нужно только, чтобы ты знал: я вижу тебя.

Я вижу, как ты замер, когда я процитировала на семинаре Мандельштама. Ты подумал, что я не помню наизусть, что подглядываю. Я помню наизусть. Я знаю ещё сто пятьдесят стихотворений, и у меня в голове играет музыка, когда я думаю. И у тебя тоже играет — я вижу это по тому, как ты закрываешь глаза на секунду, когда доходишь до сложного места в задаче. Ты не считаешь. Ты слушаешь.

Я вижу, как ты устал. Не физически — устал жить. Ты держишь спину прямо, ты держишь голос ровно, ты держишь всё. Но у тебя внутри — очень тихо. Так тихо бывает, когда человек забыл, как дышать глубоко.

Я не буду тебя спасать. Я не спасатель, я не мать, я не терапевт. Я, кажется, вообще нехорошая девочка — ты, возможно, ещё пожалеешь, что взял меня в свою лабораторию.

Но я хочу, чтобы ты знал: тот, кто ты есть на самом деле, — я его вижу. И он мне нравится больше, чем тот, кем ты пытаешься казаться.

Всё.

Не отвечай. Или ответь. Как решишь.

В.

Он прочёл эту записку в машине, в пятницу вечером, у себя во дворе, не заходя ещё в дом. Прочёл дважды. Потом достал из бардачка зажигалку. Поднёс к бумаге. Не смог. Положил обратно в книгу. Книгу положил в портфель. Портфель занёс в квартиру. Ужинал с семьёй. Улыбался. Читал дочери на ночь про Муми-троллей. Потом лёг в кровать. Смотрел в потолок. Через два часа встал, вышел на кухню, достал книгу, перечитал записку в третий раз. Заплакал. Тихо, без всхлипов, как в детстве, когда нельзя было издавать звуков. Потом умылся. Лёг обратно. Уснул под утро.

Так началась их переписка. И так началась его настоящая жизнь — жизнь параллельная, тайная от всех, включая самого себя.

Глава 5. Зима, в которую они были вместе

Не в постели — вместе.

Есть люди, которые считают, что вместе — про кровать. Есть люди, которые точно знают, что нет. Он был из вторых, хотя не признавался себе в этом. Она была из вторых с рождения. Между ними началось то, что психоанализ описывает неуклюжим словом «сублимация», а поэзия называет длинным и точным словом «любовь».

Они катались на лыжах. Это началось случайно. У неё была подруга, у подруги — база за городом, и она обмолвилась в лаборатории, что едет на выходных. Он в ответ обмолвился, что тоже когда-то катался. Пауза. Она сказала:

— Поехали?

Он ответил:

— Мне неудобно.

Она посмотрела на него весело и сказала:

— Александр Николаевич, вам ничего не удобно. Поехали.

Он поехал. Он сказал жене, что научная поездка. Он поехал.

Первая ложь. Не крупная — вроде бы. Просто перестановка слов. Но психоанализ давно знает: с первой малой лжи внутри человека начинается процесс, обратный интеграции. Он раскалывается на две личности. Одна — та, что дома, отчитывается о поездке. Другая — та, что едет. Между ними образуется тонкая, но уже несомненная граница. И с каждой следующей ложью граница будет уплотняться, пока не станет стеной.

Они катались весь день. Она — легко, стремительно, с той хищной, уверенной пластикой, которую нельзя выучить, только родиться с ней. Он — тяжелее, аккуратнее, но с точностью, которая приходит от инженерной привычки к траектории. Он смотрел на неё сзади, когда она уходила в спуск, и у него сжималось всё внутри. Она смеялась на подъёмнике. У неё смех был низкий, грудной, чуть хриплый, — не девчоночий, а какой-то ведьмин, из глубины горла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.